

ВАЛЕНТИН РЕЗНИК**ПЕРВАЯ КНИЖКА**

Весь тысяча девятьсот семьдесят восьмой год — шли стихи. Они шли, как рыба идёт на нерест. По головам. Отпихивая друг друга. Тычась мордами. Ещё не дописалось одно стихотворение, как откуда-то из глубины сознания начинало свою жизнь другое. Радовала плотность. На этот раз тон задавала производственная, рабочая тематика.

К тому времени четверть века проработав металлистом, я почти не касался в стихах этого факта своей биографии. Объяснялось это двумя причинами. Захватанность и заспекулированность самой темы. Из того, что было написано «в рифму», мне мало что нравилось. Сейчас с ходу могу назвать только Николая Анциферова. «Я работаю как вельможа. Я работаю только лёжа. Не найти работёнки краше. Не для каждого эта честь. Это только в забое нашем — после смены ни встать, ни сесть», — кажется, так.

Самого Анциферова я видел летом пятьдесят девятого в отделе поэзии журнала «Москва». Стояла нешуточная жара, а он в черном, чуть ли не в чесучовом, костюме. Крепкая лысая голова. Курит. Посмотрел мои стихи. Улыбнулся: «Хреново!» Я не стал спорить.

Воспитаннику заводских литературных объединений, мне ли было не знать, как ценились производственные опусы. Как они быстро находили дорогу на страницы печати.

А печататься хотелось. И сам я отдал дань этой «теневого экономике». И не раз слышал, мол, с твоими способностями — давно бы сварганил, учитывая профессию — подборку, а то и целиком сборник. Но... так, как мне хотелось, — не выходило. А то, что выходило, самому было тошно читать, не то что предлагать.

А тут без всякой натуги и в согласии с моим душеощущением сразу несколько «хитов». «Ты не брал трудовых обязательств», «Четверть века с металлом общался», «Бригадир», «Мы от станка и от вагранки» — у меня было ощущение, что кое-что в них удалось сказать.

Правда, давались мне «производственники» с большим трудом. Особенно «Четверть века с металлом общался». У меня редко бывало, чтоб я неделями возился с одним стихотворением. Утешало, что тут не одно, а целая флотилия. Но потом, «отпустив её на воду», я почувствовал облегчение.



Пик сочинительства пришёлся на август. Я в отпуске. Семья в отъезде. В полном смысле слова развязаны руки. На работе не очень-то позаписываешь. Не остановишь наждак, не выключишь радиальный станок, дабы, взяв листок бумаги и вытерев хотя бы о спецовку ладони, наскоро набросать то, что пришло в голову и крутится в ней, как в галтовочном барабане. А вечное бормотание на ходу, на глазах сослуживцев, не оставалось без реакции: «Ну ты, Пушкин! Ты работать пришёл или что?», «Оглух совсем?», «К тебе обращаются...»

Известно, что когда пишется, то и отношение к только что рождённым стихам — положительное. Это потом, спустя какое-то время, температура интереса к ним начинает падать. И, конечно, не только количество, но и, как казалось автору, качество — подталкивали к попыткам реализации «продукции». Отпуск для этого — самая благодатная пора. Сам график работы на производстве не оставляет возможности «походов» по редакциям. Конечно, можно было прибегнуть к помощи почты. Но способ заочного знакомства — в моём случае — оказывался малопродуктивен. И хотя все уведомления были в основном положительного характера — результат был один. Приведу пример.

«Уважаемый Валентин Борисович!

Безусловно, у Вас есть способности и, возможно, со временем Вы напишете книгу хороших стихотворений, но у Вас ещё не хватает мастерства для создания стихов совершенных. И по мысли, и по чувству все Ваши стихи, в общем-то, интересны, но в каждом стихотворении, по самой элементарной неопытности, у Вас полно изъянов самого разного характера. Основной же недостаток Ваших стихотворений в том, что Вы не всегда логично в них мыслите. Говоря о базаре, Вы ни с того ни с сего подытоживаете:

Здесь кто-то просто так гуляет,

А кто-то делает дела...

Парадоксально звучат строки: «Бессмертна лишь трава забвенья, всё остальное трин-трава». Восторгаясь Ленинградом, лирический герой мучает себя вопросом: «Так за что такая мне удача, так любить без памяти тебя?» Преобладают в Ваших стихах прозаизмы: «А что такое смерть, Марина? Как можно не существовать?» Говоря о мёртвой, герой изрекает такую «истину»:

Больше мне не представится случай

Наяву увидаться с тобой.

К сожалению, из присланной подборки для журнала ничего отобрать не удалось.



С уважением,
Литконсультант И. Никитин.
06.06.73».

А были и такие:

«Уважаемый товарищ В. Резник.

Присланные Вами стихи редакцию альманаха «Поэзия» не заинтересовали, опубликовать их не представляется возможным.

РЕДАКТОР АЛЬМАНАХА «ПОЭЗИЯ» Г. Красиков
А.И. Щуплов».

По той быстроте, с которой мне «завернул» рукопись А.И. Щуплов и по некоторым признакам, — я в середине подборки склеил несколько листков, и они остались не разъединёнными, — понял, что он стихи не читал. И эта наглость меня сорвала с места. В присутствии тогдашнего зава «Альманаха» — Г. Красикова я выложил свою аргументацию в более чем резкой форме. Щуплов во время моего раздражённого монолога предпочёл убраться. Красиков с опущенным лицом молча меня выслушал. Через два года были опубликованы стихи из той злополучной подборки. А с деятелями, подобными Щуплову, я сталкивался потом в нередком числе.

И пошёл я в редакции!

Благодаря этим походам, я познакомился с некоторыми людьми, работающими в них, и дружественные отношения, завязанные тогда, до сих пор сохраняются:

Надежда Васильевна Кондакова — «Октябрь»;

Ольга Юрьевна Ермолаева — «Знамя»;

Галина Адольфовна Волина — «Сельская молодёжь»;

Галина Вячеславовна Рой — «Истоки».

Практические результаты этих знакомств, может, и невелики. Но их добрые слова, их поддержка человека, в зрелом возрасте пытающегося начать печататься, дорогого стоят.

Тогда же, во время посещения «издательских мест», я столкнулся и с таким не приводящим в восторг явлением. Стихи при вас читают. Добрые слова о них говорят, но...

«У нас «посадочных мест» пятьдесят два на год и в первую очередь для членов союза. А этих «членов» как нерезанных собак».



«Вы идите в молодёжное издательство, а у нас... — я сейчас позвоню в «Сельскую молодёжь...»»

В молодёжных издательствах, соответственно, отсылали во «взрослые». Создавалось ощущение, что перед тобой стена. Однажды, после такого «тёплого приёма», я вышел из редакции «Дружбы народов» и буквально провыл:

Кому это надо,
Чтоб голос мой не был услышан,
Чтоб я задыхаясь
Почти в безысходной тоске,
Цитировал душу
Луной освещённым афишам,
Исчерканный лист
Как лимонку зажав в кулаке.
Но верю я, сгинет
Недоразумений завеса,
Препон и рогаток
Исчезнет проклятый нарост,
И выйду я в светлом издании
Неба и леса
В издании птиц,
Под редакцией белых берёз.

Вряд ли я сам верил в тот оптимистический конец, которым заканчивается стихотворение.

Но в тот же день жизнь постаралась меня убедить, что не всё ещё так плохо.

После недружеского приёма в «Дружбе народов» — направился для разрядки в книжный магазин. Время подходило к трём. Заканчивались обеды. И, по моим прикидкам, после посещения книжного магазина, или, как он для краткости назывался — «сотого», у меня ещё была возможность заглянуть в «Знамя» или в «Новый мир», находившиеся неподалеку.

Обычно, посещая книжные магазины, я не спеша обходил все отделы. Посещение превращалось в небольшой праздник, и КПД его увеличивался, если удавалось обзавестись желаемой новинкой или старинкой.



В дни же, когда меня настигала стихия бумагомарания, я оставался равнодушным к «проводникам культуры». Я переставал читать, а если открывал какую-нибудь книгу, то это был, как правило, словарь или справочник — подремонтировать грамотность, обогатиться информацией.

И в тот раз я, скорее автоматически, прошёлся вдоль книжной продукции. Может, только в отделе поэзии задержался чуть дольше. Там мне бросился в глаза тоненький стихотворный сборник из серии «Молодые голоса». Серия мне нравилась качественным отбором стихов и тем, что у большинства авторов это была первая книжка. Я и сам прикидывал для себя возможность издаться в «голосах». Тогда ещё не совсем понимая, что путь мне туда закрыт и не только по причинам возраста.

Беру заинтересовавший меня сборник. На обложке лицо молодой женщины в капюшоне. Ольга Ермолаева. Вспомнил, что некоторое время назад эту поэтессу представлял в «Комсомолке» Владимир Солоухин. Имя Солоухина само по себе было определённой гарантией, — во всяком случае, тогда, — что автор, которого он представляет, явление неординарное. Наугад открыл страницу. И, строчка, зацепившая моё взвинченное неудачами сознание, сразу стала достоянием памяти: «... ещё придут победы, не всё-то нам, княгиням, на тризнах пировать». Бормоча её, я время от времени смотрел на лицо «княгини», как про себя я стал называть неизвестную мне Ольгу.

А ноги между тем несли меня к памятнику Пушкину.

Развилка. Направо пойдёшь — в «Новый мир» попадёшь.

Налево — в «Знамя».

По всей логике, я должен был «осчастливить» «Новый мир», куда давненько не заглядывал. С ним у меня были в основном «почтовые отношения». «Знамя» же не далее как в марте прислало мне уведомление, что стихи, предложенные редколлегии отделом поэзии, возвращены. И подпись: Г. Корнилова. Но это по логике. Люди, в избытке наделённые этим прекрасным качеством, редко кладут свою жизнь на кропание стихов.

Короче говоря, уже через десять минут, не очень сознавая, зачем я это делаю, стучусь в комнатку справа от входа на первом этаже «Знамени».

Ещё не получив разрешения — вхожу.

За столом, где раньше сидела Г. Корнилова, сидят двое. Один в кожаном, по моде тех лет, пиджаке, не известный мне мужчина, и женщина с лицом Ольги Ермолаевой.

— Вы ко мне? — безнадёжным голосом спросила она.



— Кому я могу показать свои стихи? — спросил я с натянутой вежливостью.

— Вы не могли бы оставить их? День заканчивается, и, боюсь, я не успею посмотреть.

Конечно, ведающая поэзией журнала «Знамя» не могла знать, что у меня с утра уже было несколько «заходов» по редакциям. Там-то хоть при мне просматривали подборки.

Была у меня одна «домашняя» заготовка: я предлагал прочитать только одно стихотворение, лежащее сверху, и если оно не понравится — чтение прекращается.

Не помню случая, чтоб всё ограничивалось только одним стихотворением.

Примерно то же самое, но в более резкой форме, чем обычно, я предложил и сейчас. — Хорошо! «Княгиня» достала сигарету и углубилась в дебри моих поэтических творений. Читала медленно. Раскладывая прочитанные листы на две стопки. Я не сводил с неё глаз, пытаюсь как бы «читать впечатление» с её лица, с шевелящихся губ. Закончив чтение, она обернулась к кожаному пиджаку:

— Толя, вы не могли бы написать врезку для отобранной мною подборки?

Толя сказал что-то в том смысле, что в «Знамени» такой жанр, насколько он знает, не практикуется.

Завязался разговор. «Давно ли пишете? Чем занимаетесь? — здесь «княгиня» улыбнулась. — По стихам видна ваша профессия. Есть ли книжка? Стоит ли в «Союзе»? Где публиковались до этого?» и т.д.

Получив на большинство вопросов отрицательный ответ, Ольга Юрьевна предложила принести всё, что я считаю подходящим для печати.

Еще полчаса назад раздражённый, готовый «целый мир на битву звать», я вышел из «Знамени» с поющей душой и по дороге к дому сочинил стихотворение, — второе или третье, — за этот сумасшедший день.

О.Ю.Е.

Из того, что мне было обещано
И десятая часть не сбылась.
Есть на улице Герцена женщина,
Надо мною обретшая власть.
Тридцати с лишним летняя Золушка
С сигаретой в правой руке —



Моё позднее красное солнышко –
 Лишний повод к зелёной тоске.
 Ты свети, моё солнышко малое,
 Согревай, добротой любя.
 Ты прости, что сестрою и мамою
 За глаза называю тебя.
 Уж давно моё сердце излечено
 От всего, что не в силах забыть.
 Есть на улице Герцена женщина,
 А могла б, не дай Бог, и не быть.

Не откладывая дела в долгий ящик, я по приходе домой стал приводить в порядок — переводить на машинку — извлекаемые из записных книжек, тетрадей, отдельных листков — годящиеся, на мой взгляд, для «выхода в свет» тексты. Ухлопав на это сомнительное занятие весь вечер, ночь и часть дня, я точно к приходу Ольги Юрьевны был у неё с папкой туго набитой моим творчеством за последние двадцать лет. Вид, в котором я предстал перед ней — небритый, мятый, с красными от бессонницы глазами, — ясно говорил, чем я занимался после нашей предыдущей беседы.

Она протянула мне яблоко.

— А теперь марш спать.

Отдел поэзии журнала «Знамя» был «вмонтирован» в отдел критики «знаменосца». И начиная с моих первых посещений, этот отдел стал для меня тем, чем был взвод разведчиков для Вани Солнцева из катаевского «Сына полка». Хотя я по возрасту превосходил каждого из населявших критико-поэтический отдел — они относились ко мне, примерно, как к сыну полка. Возглавляемые Валеской Великолепной, эти женщины пережили со мной все перипетии издания моей первой книжки в «Советском писателе». И радовались, когда после выхода её, предложили постоянному рецензенту журнала Илье Фонякову несколько стихотворных сборников на рецензию. И Фоняков выбрал «Возраст» — так назывался мой первый сборник.

Наверное, как я сейчас думаю, сыграл и тот факт, что среди «критикесс» находилась занимавшаяся со мной на подготовительных курсах факультета журналистики Наташа Карочкина. К сожалению... «И тебя уже на белом свете чёрною засыпали землей».



Мнение Ольги Юрьевны по поводу стихов, что я вручил ей на следующий день после нашего знакомства, совпало с гришаевским.

Надо готовить сборник.

Собственно, стихи, отобранные Гришаевым и Ермолаевой, я смешал как в тигле и в дальнейшем в виде второго экземпляра показывал его, когда встал вопрос: «А что у вас, ребята, в рюкзаках?» Реакция была неоднозначная. Одно дело — подборка стихов, предлагаемая отделу поэзии, а другое — целая книга.

Единственный человек, которого не смутил второй вариант, была работающая в журнале «Сельская молодёжь» в качестве литературного сотрудника Галина Адольфовна Волина. Она попросила оставить рукопись для ознакомления. Уже вскоре я имел на руках целую статью, которая заканчивалась той же мыслью, что надо издавать книгу.

Я бы мог много чего сказать о Галине Адольфовне, но лучше, чем это сделал её старый друг — известный актёр — Валерий Золотухин, пожалуй, не скажешь. В одной из своих книг он дал подробный портрет Гали. Она действительно сподвижница. Её квартира напоминала гостиницу для молодых дарований из разных городов. Я один из многих, на кого она тратила свою душу и своё время. Мать троих великолепных детей — вечно улыбающаяся, звонкая, устраивающая чужие судьбы. Среди её корреспондентов немало писателей первой величины. Она показывала мне письма Валентина Распутина. Жаль, если они останутся неопубликованными. Сколько в них мыслей и, что удивительно, юмора.

В начале девяностых — в лавке писателей — в маленьком, худом, в помятых джинсах, с сумеречным лицом человеку я с трудом узнал Валентина Григорьевича.

Закончился год семьдесят восьмой, принёсший мне десятки стихотворений. Обогадивший меня несколькими друзьями из литературного мира, но ничуть не поправивший мои издательские дела. По-прежнему пробиться в печать по разным причинам не удавалось.

«Слушай, снеси-ка свою рукопись в комиссию по работе с молодыми, — сказала однажды Волина. — Чем чёрт не шутит. А вдруг?..»

И вот в конце февраля семьдесят девятого года — отпросившись предварительно с работы, мол, надо по стихотворным делам — я отправился в комиссию.

Вообще-то, я старался не афишировать на работе свою литературную деятельность. Только несколько человек знали о ней. Разумеется, я писал в стен-



ную газету, и всякого рода поздравительные послания по случаю именин и восьмого марта. Но подобным «извозом» занимались и другие. В каждом отделе был свой «поэт». А те коллективные сборники, в которых я изредка участвовал, или газетные публикации, как правило, подавались без изобразительного материала. Сложнее стало, когда засветился в «Юности». Там была карточка. И хотя народ в учреждении, где я работал, был «с пониманием», всё же приходилось иногда где-нибудь в столовой в очереди слышать: «Это который Резник? — Вон тот, в спецовке...»

На почве «разоблачений» имели место конфликты с непосредственным начальством. Один из них вдруг заявил мне примерно следующее: «Ты что думаешь, если ты печатаешься, то...» Я не дал «ясновидящему» договорить, а взяв его за кандидатский халат ближе к горлу и приблизив на опасное расстояние к его лицу рашпиль, задал встречный вопрос: «То что?» На сей раз кандидат наук проявил редкую сообразительность, которой не злоупотреблял в своей основной работе.

Как объяснила мне Галина Адольфовна, комиссия, «с нетерпением ждущая мою рукопись», располагалась в одном из помещений Союза писателей.

Где находилось учреждение Союза, мне объяснять не требовалось. «На этой улице подростком гонял по крышам голубей». И не только голубей, добавлю я.

На улице Воровского (нынче снова Поварской) я прожил десять лет — с сорок седьмого по пятьдесят седьмой год.

Пока добирался от Шоссе Энтузиастов — места моей работы — до Арбата, составил план действий. Первый — со стороны площади Восстания (нынче снова Кудринская). Второй — со стороны ресторана «Прага». Я выбрал второй. Этот вариант давал мне возможность сначала перекусить в кафе при «Праге», а потом навестить «Дом книги» на Калининском проспекте и только после этого, не спеша пройти всю улицу до конца и осчастливить своим присутствием комиссию по работе с молодыми авторами. Или как она там точно называлась.

Начал приводить план в действие. Плотно перекусил. Побродил по Дому книги на предмет знакомства с новыми поступлениями и двинулся в путь.

Прогулка по моей родной улице всегда была медленной. Я мысленно её вижу в том первоначальном, а не в нынешнем куцем виде. А «та» Воровского-Поварская начиналась не с церковки на искусственном холме, а с женской школы №91. Красное четырёхэтажное кирпичное здание гимна-



зической архитектуры. До революции в нём находилась женская гимназия. А проходя мимо рекламной внешности культового учреждения, как бы запасным зрением, вижу его в том плачевном состоянии, в коем оно пребывало до прокладки проспекта, долго носившего имя «всесоюзного старосты».

После церковки иду вдоль здания норвежского посольства и подхожу к дому с барельефом в мемориальном исполнении. Во дворе этого «барельефного» дома мы в бытность школярами любили играть в снежки. И по старой памяти я иногда захожу во двор «как на свиданье с юностью моей».

Как на свидание шёл и сейчас...

Что такое? На фасаде здания доска, гласящая, что здесь находится издательство «Советский писатель». Приехали! Я-то знал, что «совпис» помещается в неизвестном мне Гнездиновском переулке. По понятным причинам, туда нога моя не ступала даже в самых радужных снах.

Чем я руководствовался, вдруг решившись войти под своды издательства «Советский писатель»?

Я и сейчас не в состоянии ответить на этот, не имеющий логической начинки, вопрос. Что могло ждать человека, рискнувшего без предварительных «высоких» звонков, без рекомендации какого-нибудь очередного совещания писателей, без публикаций, делающих имя автора известным хотя бы узкому кругу писателей, предложить свою рукопись? Рукопись человека, разменявшего пятый десяток. Да и сама рукопись, гулявшая по стольким рукам, выглядела прямо скажем...

Но я вошел. Не ощущая ни рук, ни ног. Как в тумане.

Слева от входа дверь. Захожу. Пол завален папками, конвертами, бандеролями. Мелькают имена, известные тысячам любителей поэзии. Многие из авторов, валяющиеся сейчас у меня под ногами, стоят в виде стихотворных сборников на моей книжной полке. По комнате бродит человек. Обретаю дар речи:

— Что это у вас за бардак? — спрашиваю, обводя носком зимнего ботинка залежи.

— Отдел поэзии переезжает, — отвечает провинциального вида товарищ.

Позднее я буду иметь дело с ним. Зовут его Семакин. Он рассказал, «куда уехал цирк» и кто главный этого цирка. То, что фамилия зав. отделом поэзии «Советский писатель» Исаев, я знал. С отчеством было хуже. Семакин меня любезно просветил на этот счёт — Егор Александрович.



Исаев был не из писучих. Пользовалась известностью его поэма «Суд памяти», она мне нравилась. Некоторые строфы я знал наизусть. Крепко сложенная, богатая рифмами. Да и сюжет не банален. Направляясь наверх в «логово» я повторял: «Я Гансу руку подаю. Я Фрицу руку подаю. Тебе же, Хорст, — помедлю!».

Постепенно, во время беседы с Семакиным и подымаясь, кажется, на третий этаж, к кабинету Исаева — я как бы приходил в себя от собственной наглости. Становился «автором» издательства, не имея на это никаких оснований. В кабинет короткая очередь. Обращаюсь к последнему. Им оказался Джим Паттерсон. Всему Советскому Союзу он известен по фильму «Цирк». В этой блестящей и лживой картине его, заплаканного негритёнка младенческого возраста, передают с рук на руки, — а руки-то какие! — Михоэlsa, например, — зрители под гремящую под сводами цирка мелодию Дунаевского.

Минут через двадцать оказываюсь перед Судьбой.

— Чего пришёл? — спросила Судьба мужиковствующим голосом Егора Александровича Исаева.

— Да вот, стихи хорошие пишу, а никому до них нет дела, — со скomorшьей интонацией отвечаю Исаеву.

Протягивает десницу. Молча подаю рукопись в зелёной папке.

Исаев развязывает красные тесёмки и, окинув взглядом лежащее сверху стихотворение, завязывает тесёмки...

— Света! — на пороге появляется милое обаятельное создание.

— На рецензирование, — говорит Судьба и суёт мне лапу. — Будь!

Вся сцена принятия рукописи уложилась в три минуты, а я и спустя двадцать четыре года, вспоминая её, не могу опомниться.

Уже спускаясь по лестнице, подумал: «А ловко это они разыграли один из вариантов отвода автора».

С этой мыслью — одевшись во всё лучшее и приняв для храбрости «на грудь» — явился на следующий день в комнатку, где сидела обаятельная Света.

— Простите, я у вас вчера был, и у меня приняли рукопись. Нельзя ли...

Видимо, понимая моё состояние, Светлана порылась в картотеке и протянула бланк, который гласил, что рукопись Валентина Резника «Заводские берёзы» принята на рецензирование. Поблагодарив, я выкатился на воздух. В тот момент мне его очень не хватало.

Наверное, стоит привести и стихотворение, обратившее на себя внимание заведующего отделом поэзии «Советского писателя».



Заводские берёзы

В сухом дыму электросварки,
В угаре газов выхлопных
Берёзы — леса санитарки –
Работают без выходных.
Жизнь, что и говорить, не сахар,
И душу некому излить,
Но как они себя, однако,
Стараются не уронить.
Шумят резной листвою весело,
Маня под сумрачный навес,
И воробьи с утра до вечера
К ним проявляют интерес.
Им красоваться в санатории,
Шуметь бы в рощице сквозной.
Я бы их вывел с территории,
Да не пропустят в проходной.

Такая вот рифмованная зарисовка места, дающая некоторое представление об экологической обстановке, в которой я провёл слесарем тридцать восемь незаметных лет. И если быть точным, то никакие берёзы там не произрастали. А вместо них торчали покрытые толстым слоем загазованной пыли — тополя. И, как поведал мне начальник одного из производственных цехов, во время посещения цеха бельгийцами ему было сказано: «У нас и негры не стали бы работать в таких условиях». А ведь в подобных цехах закладывался фундамент атомной и космической промышленности. О чём, кстати, свидетельствует мемориальная доска на одном из цехов. Эти «маяки науки», напичканные трофейным оборудованием столетней давности, на котором работала в основном «лимита», в немалой степени способствовала короткому веку кующих «щит родины».

Внешне жизнь моя после принятия рукописи не изменилась. Как и до «исторического момента» я тянул ляжку гегемона в вышеописанных условиях. Возился с дочкой. Разводился и сводился со своей «пенелопой», писал «пулю» с друзьями и писал стихи. Но ни на минуту не забывал, что где-то там, в недрах издательства, решается судьба моего стихотворного первенца. От меня уже ничего не зависело. Незнакомые люди с различными вкусами и взглядами будут выносить вердикт



и определять качество того, на что ушли мои самые лучшие годы, что было для меня не «хобби», а главным делом всей жизни. Получу ли я вещественное доказательство того, что эти двадцать лет не пошли псу под хвост.

Не буду лукавить. Я знал себе цену как стихотворцу.

«Я не был никогда аскетом
И не мечтал сгореть в огне.
Я просто русским был поэтом
В года, доставшиеся мне».

Эти коржавинские строчки я с полным правом относил к себе.

Положение пишущего, но не издающегося часто похоже на положение за-конспирированного изгоя. Вам требуется уединение, а вас посылают по хозяйственным делам. Вас эксплуатируют на всю катушку как мужа, отца, приятеля. Попробуй заикнись, что, мол, идут стихи, и я хотел бы поработать...

Реакция со стороны домашних — в лучшем случае — усмешка. Со стороны друзей-приятелей — ирония, разбавленная ненормативной лексикой. Пока молодой — еще куда б ни шло. А когда вам под сорок?

«Неудачник! Графоман! Паразит!»

Но вот первый сигнал «оттуда».

— Тебе тут какой-то Куликов звонил. Просил позвонить.

Что ещё за Куликов. Лихорадочно перебираю круг знакомых. Среди них Куликовых нет. Сажусь на телефон и где-то ближе к ночи дозваниваюсь до выскочившего как чёрт из табакерки неизвестного мне Куликова.

«Резник, привет! Это я, Борис. Помнишь, в «Юности» в шестьдесят первом году мы вместе с Заурихом...»

Поэта Бориса Куликова я знал по стихам. Судя по их содержанию, он был не москвич, а откуда-то из Ростова, казачьего рода. Как и всякий не только любящий стихи, но и сочинитель, я знал почти всех стихотворцев и поэтов своего времени. Чтение газеты и журнала почти всегда начиналось со знакомства с рифмованными столбиками. Моя память до сих пор перегружена чужими удачами поэтического сорта:

«Припал к земле посёлок деревянный,
Дымками прорастая в небеса».
«Простор продрог,



Перепоясанный ремнями
Кривых дорог»...

В первом случае — Иван Дрёмов. Во втором — Николай Кутов. Многим ли хоть что-нибудь говорят имена этих ленинградских поэтов?

А ведь я сознательно взял не модных, не входящих в различные обоймы стихотворцев. Иных из них уже, поди, на свете нет, а в моей памяти они живы.

Я не буду пересказывать телефонный разговор с Борисом, а просто приведу его рецензию, из которой кое-что станет ясно.

«В.Резник

ЗАВОДСКИЕ БЕРЕЗЫ

Стихи

В 1961 году я возвращался с целины и впервые в жизни попал в Москву. Столица ошеломила меня не только своим сказочным великолепием, но и... стихами. Готовился первый День поэзии, и стихи читали повсюду: в редакциях журналов и газет, на площади Маяковского, в скверах, в книжных магазинах, просто на улицах. Я, делающий тогда только первые шаги, тоже робко читал и был хорошо, к моей радости, принят, приглашён на встречу молодых поэтов в журнал «Юность». Много там было начинающих гениев, но запомнил я только Лёшу Зауриха, Ивана Николюкина (может, потому, что потом часто с ним встречался), да угловатого, чёрного как жук паренька. Фамилию его забыл, а вот стихи «За чтением Шолохова» (не так давно была опубликована вторая книга «Поднятой целины») запомнил навсегда:

Может чудо скрывается
На последнем абзаце?
Чуду так полагается
Совершаться внезапно...
Но чудес не бывает.
На войне убивают.

Последние строчки просто врезались в память.

И вот рукопись с незнакомой фамилией Резник. Читаю стихи, чувствую что-то знакомое — краткость, стремление к афористичности и вдруг — «Читая Шолохова». Я покопался в памяти и пришёл к горькому выводу, что за эти восемнадцать лет почти не встречал стихи Резника ни в книжках, ни в журналах. Что-то было в коллективных сборниках, было в «Юности», «Москве»,



но давно и мало. В чём же дело? Может, в том, что поэт сам очень часто в стихах то клянёт, то бравирует ею? И наконец, как бы отчаявшись, пишет такое:

Кому это надо,
 Чтоб голос мой не был услышан,
 Чтоб я задыхался
 Почти в нелегальной тоске
 Цитировал душу
 Луной освещённым афишам,
 Исчерканный лист,
 Как лимонку зажав в кулаке.
 Ей-богу, это никому не надо.

И зря Резник так грозно /...лист как лимонку зажав в кулаке/ на кого-то обрушивается. Но какой же он выход видит?

Но верю я, сгинет
 Недоразумений завеса,
 Препон и рогаток
 Исчезнет проклятый нарост,
 И выйду я в светлом издании
 Неба и леса
 В издании птиц,
 Под редакцией белых берёз.

Выход из окружения каких-то «препон и рогаток» автор видит в самом печальном — смерти. Это уже не крик. Это вопль отчаянья! А ведь так отчаиваться Резнику, право же, не стоит. Поэзия — это работа, РЕМЕСЛО, и оно требует упорства, настойчивых поисков, каторжного труда. Трудно написать хорошо, трудно и выделиться в сонме поэтов так, чтобы тебя заметили, издали. Судя по представленной рукописи, у Резника эти качества не совсем хороши — более расхристанной рукописи я не встречал. Стихи представлены почти «слепые», рукопись не пронумерована, нет оглавления, стихи подобраны по принципу «вали кулём — после разберём». Возможно, из-за такого наплевательского отношения к своим стихам Резник до сих пор не издан.

Означает ли это, что Резник не считает писание стихов главным делом своей жизни? Если так, не стоит и издаваться.



А ведь у него есть произведения ёмкие, броские, интересные. Несомненным достоинством автора является умение писать кратко, афористично. Правда, зачастую последние строки стихотворений (они-то афористичны, как-то «но чудес не бывает, на войне убивают») кажутся притянутыми за уши. Такое впечатление, что всё стихотворение написано ради них. Но встречаются в рукописи и вот такие стихотворения:

ВОРОБЕЙ

И сходил с ума от голубей,
И по журавлям грустил, однако,
Но с годами стал всего милей
Воробей — пернатая дворняга.
На ногах, на крыльях целый день
От зари до позднего заката.
Вечная удобная мишень
Для пацаньих подленьких рогаток.
И вынослив, словно космонавт,
И беспечен, как рубаха-парень.
Каждой крошке бесконечно рад,
Каждой капле шумно благодарен.
И когда в сухой пыли дорог
Вижу я поверженное тельце,
Распирает горло мне комок —
Горем исковерканное сердце.

И, ей-богу, жалко мне, что в сорок лет Резник не имеет собственной книжки стихов. На мой взгляд, несмотря на небрежность в составлении рукописи, на браваду, на некоторую искусственность отдельных стихотворений, Резник всё-таки поэт интересный, со своим голосом. Я даже затрудняюсь назвать его учителей. Стихи его короткие, но это не миниатюры Грудена, да и не зарисовки вовсе. Некоторые из них даже сюжетны! Что касается поэтических находок — броских образов, неожиданных сравнений, то они есть почти в каждом стихотворении. Я не хочу тратить время на цитирование, тем более что разговор о возможности издания книжки стихов Резника в «Советском писателе» может быть лишь тогда, когда автор представит рукопись в надлежащем виде. И усилит ее за счёт стихов



гражданственных, рабочих. Ведь называется она «Заводские берёзы», а не моя «Безалаберная жизнь», о коей в данной рукописи стихов через край.

Итак, вот на какие стихотворения при составлении рукописи я бы хотел обратить внимание: «Заводские берёзы», «Мы только эпитафии чьей-то судьбы», «Довоенной давности рубаха...», «Воробей», «Стал городским...», «Жил на Арбате мальчик», «Декабристы», «Что ещё мне на роду написано?», «И был оставлен я на третий год», «Мы от станка и от вагранки...», «Не бойся наживать себе врагов», «Из того, что мне было обещано...», «Не мне судьбу мою охаивать...», «В метро, на бульварах, в домах...», «Гамлет», «Россия», «Всё яснее жизни бремя», «Памяти матери», «Отцу», «О, вы, что всё сумели вынести», «Арбату», «На какие не знаю гроши...», «Ворона», «Ревуша», «Не с букетом алых листьев...», «Быть самим собою...», «И мы причастны ко всему...», «Как ещё ты не сошла с орбиты...», «Бессмертна лишь трава забвенья...», «Мне припомнился вдруг...», «Мой беспорядочный досуг» (Вот пример «безалаберной жизни», которую так часто поэт клянёт. Бутылка, «пуля» — преферанс, болтовня и в результате горькое признание: «О сколько лучших лет убито и добрых дел погребено!»), «Я коротаю день короткий...», «В преддверьи последнего вздоха...», «А я оттуда, я оттуда...», «Воспоминание о море», «Не обременённый заботой...», «Бригадир», «Ходил в молодых, да ранних», «Над бывшей Собачьей площадкой...», «Четверть века...», «Давай уйдём в себя поглубже» (Кстати, в этом стихотворении автор как бы отрешивается от своих стихов, где он жалуется на свою беспутную жизнь — я в неё вообще-то не верю —

Давай уйдём в себя поглубже,
 Давай, пока достанет сил,
 Ни звука, как ты бил баклуши,
 Как юность по миру пустил,
 Как огрызаясь и топорщась,
 Водил ты за нос сам себя
 И вдохновенно лоб наморщив
 Долдонил: такова судьба.),

«Вот глаза пожилые закрою...» (На мой взгляд, прекрасные, пронзительные стихи-воспоминание о детдомовском детстве, о Дне победы), «Накажи меня своей любовью...», «Ничего шутя нам не досталось...», «Ничего не случится со мною», «Обуховой», «Я не программировал судьбу...», «Подданный детдомовской страны...», «Прости, заветная тетрадь...», «Гордостью клеймённые на-



туры...», «Помолись за меня, золотая...», «О жизни надо меньше говорить...», «Перебираю самого себя...», «Чёрный хлеб...», «Морозная архитектура скверов...», «Не доросли мы друг до друга...», «Очередь за томиком Есенина...», «Твои Америки открыты...», «Когда же я с тобою разойдусь...», «Не болит моё сердце нисколько...», «Меня судьба не одарила бабкою», «Стань недругом моим заклятым...», «Дочери», «Н. Рубцову», «Роса», «За то, что был он многих зрячее...», «Природа не выносит суесловья...», «Это всё, что у меня имеется...».

Список отобранных мной стихотворений может показаться длинноватым, но не забудем, что Резник представил большую рукопись, что большинство рекомендованных мною стихотворений по 8-12 строк. Я стою за издание сборника стихов Резника ещё и потому, что беседовал с ним, убедился в том, что он упорно работает. Сейчас подборки его стихов готовятся в московских журналах.

Борис Куликов».

Я тоже не забыл «то чтение» в одной из комнат журнала «Юность».

С «рыжим», как звали тогда Алёшу Зауриха, я приятельствовал. Худой. Сутуловатый. Он рано начал печататься. Ему не было ещё и восемнадцати, а он уже выступал по телевизору. Помню его выступление с Борисом Рахманиным — будущим прозаиком. Тогда из чтения Рахманина я запомнил на всю жизнь:

«Военные слова: плацдарм, атака.
Военные слова: погиб у Мсты.
Я сдерживаюсь, чтобы не заплакать
От их такой суровой простоты».

Каждый раз, посещая родные места моего друга — Сергея Поташова, — мы проезжаем по мосту через Мсту, и каждый раз трассирующе вспоминаются начальные строки рахманинского стихотворения.

Алька знал своих любимых поэтов наизусть — прямо по Смелякову: «Я своих поэтов знаю наизусть». Одним из часто цитируемых был Межиров. Вот идём мимо памятника Юрию Долгорукому, направляемся в «сотый» — книжный магазин на Горького. Заурих с каким-то шепелявым присвистыванием:

Пули, которые посланы мной,
Не возвращаются из полёта,
Очереди пулемёта
Режут под корень траву.



Я сплю,
 Положив под голову
 Синявинские болота,
 А ноги мои упираются
 В Ладугу и в Неву.

Борис не упоминает, чем закончилась встреча. После «Юности» он пригласил нас с «рыжим» в «Прагу» и угостил великолепным ужином. Мы с Алёшей этот ужин не раз вспоминали. В частности, когда еле наскребя на чашечку кофе и пирожное, ловили полуголодный кайф за столиком в «Национале». Помню проплывшего мимо дородного Роберта Рождественского.

Ни Алёши, ни Бориса, ни Роберта Ивановича уже тоже нет.

Читатель сейчас имеет возможность судить о содержании куликовской рецензии. Я же такой возможности был лишён. Борис при нашей встрече, которая, разумеется, не обошлась без... дозы, больше говорил вообще за жизнь. Да и существовало правило — рецензент не должен посвящать рецензируемого в подробности, связанные с прохождением рукописи. Я держался дипломатично и не хотел ставить его в неловкое положение. Смысл прощальных слов Бориса укладывался в известный припев: «Надейся и жди».

Сам я в издательство не показывался. Дабы не сглазить. И температура напряжённого ожидания только возросла с появлением первой рецензии.

И тогда, и сейчас издательская кухня была для меня как для начинающего шахматиста — шахматы. Или более близкий и понятный пример: преферанс. Почему иногда можно ходить от туза, а иногда нет? Почему сборник стихов Марины Альперт, получивший одобрение десятка известных поэтов, был зарублен Владимиром Павлиновым в «Молодой гвардии»? Что же Лидия Корнеевна Чуковская, или Лариса Васильева, или Лев Озеров, или... меньше понимали в поэзии, чем этот комсомольский стихоплёт?

Но сам факт принятия рукописи, да ещё в такое издательство, подвигнул меня на посещение редакций, в какие я раньше и не заглядывал.

В «Литературной газете» стихи смотрел Виктор Широков. После «отлупа», я сказал, что они из готовящейся к изданию совписовской книжки.

— Ну, вот книжка выйдет, тогда и приходи.

По интонации, с какой он озвучил этот пассаж, было очевидно, что в выход сборника он не верил.

Да и сам я был ширококовского мнения на сей счёт.



Кстати, когда вышла книжка, из отдела убрали Широкова. Мы с ним изредка пересекаемся. Виктор — книжник, и место наших пересечений, как правило, книжные ярмарки или букинистические отделы «домов книг».

Следующей «авантюрой» стало моё посещение «Нового мира». Результат был более обнадеживающим, чем в «Литературке».

Поначалу Вадим Сикорский даже отобрал довольно большой кусок из предложенной мной поэмы. Но, дойдя до гранок, «кусочек» приказал долго жить. Тогда я предложил несколько стихотворений и среди них моя палочка-выручалочка — «Заводские берёзы». Вот в связи с этим я иногда и появлялся в отделе поэзии журнала. Так было и в тот день, когда вместо Винокурова или Сикорского я увидел молодую женщину. Ну, когда видишь молодую красивую женщину, часто забываешь, зачем приходишь в отдел ли поэзии, в отделение ли милиции. Завязался какой-то отвлечённый разговор, который «молодая и красивая» перевела в более практичное русло.

— А вы, собственно, кто такой и по какому поводу?

— Я Резник. По поводу готовящейся, как мне сказал Сикорский, моей подборочки.

— Валентин Борисович?

— Он самый.

— А мне папа говорил о вас. У него на рецензии ваша рукопись.

Я догадался, что передо мной дочка Евгения Михайловича — Ирина Винокурова. С Ириной мы потом встречались в отделе критики журнала «Октябрь», где с лёгкой руки Надежды Кондаковой, я некоторое время подрабатывал рецензиями. Этот заработок был ещё хорош и тем, что не поддавался семейному учёту. И часть гонорара, а у книжников лишних денег не бывает, я пускал на финансирование своей библиотеки. Там же, в отделе критики «Октября», я однажды сцепился с «винокурихой». Ирина написала блестящую статью, в которой раскритиковала поэзию Арсения Тарковского.

И вот на глазах зав. отделом критики Саши Михайлова я бросал в лицо Иры строки, строфы, а то и целые стихотворения моего Тарковского.

На наших отношениях взрывная полемика не отразилась.

Как и в случае с Куликовым, я не расспрашивал Ирину Михайловну о том, в каком духе Евгений Винокуров трактовал мою рукопись.

Если бы рецензия была отрицательной, вряд ли Ира сообщила мне, что её папа ведёт мою рукопись.

Теперь читатель сам может составить о ней мнение.



«ВАЛЕНТИН РЕЗНИК
ЗАВОДСКИЕ БЕРЁЗЫ (стихи)

Я с удовольствием прочитал рукопись Валентина Резника. Ярок, необычен, то есть весьма далёк от бытующих стереотипов, привлекателен его поэтический характер. С одной стороны — перед нами рабочий парень, слесарь на заводе, с ранних лет нелёгким трудом зарабатывающий себе на хлеб:

Четверть века с металлом общался,
Трудовой зарабатывал стаж.
И навеки в сознание вписался
Заводской монолитный пейзаж...

А с другой — перед нами тонкий интеллект, больше всего на свете ценящий книги, причём книги серьёзные, сложные, требующие вдумчивого чтения. Замечательно, что эти книги не только не противостоят в его сознании реальной жизни, но по-своему управляют ею, наполняют её особым, высоким смыслом:

Не мне судьбу свою охаивать
И над несчастной долей плакать.
Я жил во времена Ахматовой,
Твардовского и Пастернака...

Думается, это не поза... Влияние большой поэзии, великой традиции явно ощутимо в поэзии Валентина Резника. Я говорю здесь не о подражательстве, а именно о влиянии, влиянии на образ мысли, чувств. Отсюда, мне кажется, и особая человечность его стихов. Вот как он пишет, к примеру, о матери Бориса Корнилова:

...Приносит мать к бессмертному цветы,
Но трудно быть с бессмертными на «ты»,
Гранитный чуб слезами орошать,
Бездушный камень Борей называть.

Отсюда, мне кажется, и присущее В. Резнику отвращение ко лжи, спекулятивному обыгрыванию какой-либо темы, да хотя бы, своей «рабочей» темы, отвращение к любому позёрству. Его принцип, насколько я понял, — «быть, а не казаться».

Отсюда, на мой взгляд, и острая, почти физическая, неприязнь Валентина Резника к общим местам, поэтическим штампам, расхожим красотам. Вот как резко заявлено об этом в одном из его стихотворений:



Не терплю истоптанных тропинок,
Не люблю исхоженных путей,
Вжатых в землю листьев и травинок,
Расчленённых дождевых червей.
Слишком стали проходимы чащи,
Уловимы птицы и зверьё.
Слишком стало не цениться счастье
Проторить, открыть, сказать своё.

К счастью, это не просто декларация. Он умеет найти своё, точное убедительное слово, умеет заставить читателя поверить себе. Риторика, пустозвонство чужды сдержанной манере поэта. Вот он пишет, к примеру:

Не с букетом палых листьев,
Не с корзинкою опят,
Я пришёл из леса с мыслью,
Что люблю тебя опять...

И этот, казалось бы, неожиданный «улов», убеждает нас в облагораживающем действии природы на душу человека гораздо успешнее, чем самые пылкие признания на этот счёт иного стихотворца.

В. Резник умеет найти ёмкую, выразительную деталь, без лишних слов воссоздать объёмную картину. В этой связи хотелось бы процитировать стихотворение о голодном, военном детстве:

Меня судьба не одарила бабкою,
И няня мне была не суждена.
Меня своими потчевала байками
Суровая рассказчица — война.
Я верил в Змей-Горыныча и в прочее,
Мне, как живая, виделась Яга.
И лишь не верил в реки я молочные,
В кисельные не верил берега.

Конечно, наряду с подобными удачами в рукописи можно встретить и разного рода шероховатости. Стихотворение «И был оставлен я на третий



год». Неудачны строки: «Два высших заведения земли, где протеже хождения не имело (!)...».

Стихотворение «Вот и вышла разлука навеки». Неудачны строки: «В освещение тоски и печали, в озаренье седого виска (?). Стихотворение «Окажи хотя бы эту милость...». Неудачные строки: «Ты опять сегодня мне явилась в госпитализированном (?) сне...».

Стихотворение «Что ещё мне на роду написано...». Неудачные строки: «Половина жизни перелистана, выбита на перфокарте лба (?)...».

Стихотворение «Мы только эпиграфы чьей-то судьбы...». Мне не нравится сама эта первая строчка. Претенциозно. И потом, уже тогда «эпиграфы к чьей-то судьбе!»

Стихотворение «Вокзалы». Непонятны строки: «Я стал ненавидеть вокзалы за их столбовой уют, за то, что они как вассалы за счёт нашей спешки живут... (?)» Причём тут «вассалы»? Образ случаен, неточен.

Стихотворение «Декабристы». Мне не нравятся строки: «вам жить бы, да жить припеваючи, ром глушить (?) и блистать на балах...». По отношению к декабристам, на мой взгляд, выражение «ром глушить» — неуместно. Будто речь идёт о пиратах! И автор, мне кажется, где-то и сам это чувствует, ибо в другом стихотворении пишет: «Ковбой, мушкетёры, боцманы, авантюристы всех мастей, — самой судьбой вы были посланы на землю юности моей. Глушили ром и дулись в карты...». Вот в таком контексте она не вызывает возражений.

Однако подобных просчётов в рукописи совсем мало, и не они, естественно, определяют её стиль. Я за то, чтобы её издать. Книжка, мне кажется, получится интересная.

Евгений Винокуров

09.05.1980 г.»

Знатоки «дела» говорили, что двух положительных рецензий достаточно, чтобы рукопись была признана годной для издания. Но по каким-то взглядам, намёкам, недосказанностям — становилось ясно: рукопись идёт на третью рецензию. Вычислялся «третий», называлось даже имя его. Репутация — зарубщик. К тому же у «зарубщика» как раз в эти дни произошла трагедия личного характера, что не прибавляло оптимизма автору рукописи.

Прошло ещё время. Я отгулял отпуск, а по прибытии из отпуска — послан на месяц в совхоз. На полевые работы. Помогать жителям села делать то, что они должны делать сами. Но «экономика должна быть экономной», и потому



научные сотрудники в ранге младших и старших, а нередко и кандидаты наук вкупе с высококвалифицированными слесарями и механиками каждый год, а то ещё и два раза — в начале июня прополка, а по осени рубка и загрузка капусты, картошки, моркови, — отправлялись в командировки, имеющие к научной работе нулевое отношение. Хорошо, если фартило с погодой, поскольку те бараки и сараи, отведённые для сна и времяпровождения, были скверно пригодны для этого. Таким образом, на два месяца я был отключён от малоутешительной информации имеющей отношение к прохождению «Заводских берёз».

Через несколько дней после выхода на работу шеф, высовываясь из кабинета-закутка, рывкает на всё помещение лаборатории: «Резник, к телефону! Только не долго. Жду междугороднего».

Беру трубку.

— Валентин Борисович. Это вас Бушин беспокоит (в голове проносится: «он, третий»). С удовольствием прочитал вашу рукопись (довольно подробно пересказывает её).

Ничего себе у них там порядки в издательстве. Вроде бы запрет на информацию, а тут рецензент открытым текстом...

Шеф нервничает: «Заканчивай!» А как закончить? Успеваю поблагодарить и спросить: «А что же дальше делать».

— Берите их за горло. Трёх рецензий достаточно.

С таким руководством к действию — через неделю являюсь пред светлые очи Светланы.

— Как дела с рецензиями?

— Получена третья, — отвечает мой добрый гений.

Вот текст бушинской рецензии.

«ВАЛЕНТИН РЕЗНИК. ЗАВОДСКИЕ БЕРЕЗЫ.

Мало кому известный автор Валентин Резник прислал в редакцию весьма обширную рукопись. Половину его стихов я без колебаний напечатал бы за собственной подписью. Ну, хотя бы вот это:

Меня судьба не одарила бабкою
И няня мне была не суждена,
Меня своими потчевала байками
Суровая рассказчица — война.
Я верил в Змей-Горыныча и в прочее,



Мне как живая виделась Яга,
И лишь не верил в реки я молочные,
В кисельные не верил берега.

В стихах Резника есть то, что только и делает рифмованные строчки поэзией: характер, личность автора. Этот характер деятельный, решительный, прямой. Может быть, он не всем понравится своей грубоватостью, но автор и не рассчитывает на то, что нравиться всем. Однако трудно представить себе человека, который отвернулся бы от его искренности, от его открытости.

Ну, конечно, найдутся в рукописи стихи, которые в чём-то уязвимы. Допустим, стихотворение «Я ничего тебе не обещаю» с его заключительными строками:

Ты можешь делать, что тебе угодно,
Сходить с ума, сводить любовь на нет,
Но только оставайся непокорной,
Какой была все эти десять лет, —

невольно вызывает в памяти стихотворение К. Симонова «Если Бог нас своим могуществом...». Стихотворение «Быть самим собою», оканчивающееся словами:

Ангел из меня не получался,
В праведники выйти не горел,
И в миру (?) от прочих отличался
Тем, что отличаться не хотел, —

конечно же, напоминает достаточно известные строки Е.Евтушенко:

Я тоже делаю карьеру
Тем, что не делаю её.

За стихотворением «Манон Леско» тоже тянется литературный хвост, и довольно длинный, от М. Кузьмина («Зарыта шпагой — не лопатой! — Манон Леско»...) до Ярослава Смелякова.

Не блещут поэтической новизной стихотворения «Берегите матерей, мальчишки», «Загажены наши леса» и некоторые другие.



Стихотворение «Нищий», ну да, приведёт за собой кедринское «Добро». Но там мысль выражена точнее. Резник пишет, что пьяный детина, просящий милостыни:

Он каждый раз на свою наглость ставит
И всё не просчитывается никак.

Дело не в его наглости, а в нашей сердобольности, в нашей слезливости, против которой как раз и направлено стихотворение Дм. Кедрина.

Можно и в других стихах найти поспешные строки, надуманные метафоры, например:

Потрясение сводит колени...
Тандем монастырских берёз...
В глазах заблудился вечер...
За каждой чёрной кошкой
Был рад целовать следы (?)...
Всё реже я встречаю лица
Погодков, сверстников своих...

Погодки — это не сверстники, как известно, а люди старше или моложе на один год.

Грохотал навалом (!) гром...
Оборвался мотив бытия...
Ты опять сегодня мне явилась
В госпитализированном (!) сне...
Неуклюже звучат обращённые к любимой женщине слова:
Ты для меня свята была, как мать,
И дорога, как отдых для солдата...
Весьма сомнительна такая похвала:
Скряжничеством не страдая,
Всю получку транжиришь в три дня.

Это безответственность и бездумье, от чего близкие люди страдают, и восхищаться тут абсолютно нечем.

Надуманно выглядит строка:



Даже к смерти ревнуешь меня.
 Весьма неудачны и такие строки:
 Не люблю истоптанных (!) тропинок...
 Вы к солнцу взлетали не только во сне
 На крыльях, пропитанных (?) воском...
 Нехватки, поражения
 Со мною справиться (не) могли...
 Не проходимые (!) в школе книги...
 До чего ж стало пусто в России,
 Когда вы (декабристы) не вернулись (?) домой...
 Вокзалы
 За счёт нашей спешки живут (?)...

По сравнению с достоинствами стихов В. Резника это всё довольно несущественно. И легко всё можно исправить.

Проблема улучшения рукописи облегчается ещё и тем, что всё равно надо делать отбор, надо сокращать книгу, в таком объёме её издательство, к сожалению, не издаст. Это же не Кешоков и не Гамзатов. Следовательно, автору предстоит взыскательная работа по отбору. Но это он должен сделать вместе с редактором. Книга должна получиться яркой, интересной. Валентин Резник заслужил, завоевал, заработал право иметь книгу.

В.С. Бушин»

Светлана заходит в кабинет Исаева. Спустя минуту выходит и пропускает меня. Вхожу. Исаев разговаривает с каким-то мужчиной. Судя по терминам, речь идёт об охоте. Сажусь на краешек стула. Солнце пластилином залепляет глаза. «Во утки!» — разводя руки определяет размер водоплавающей птицы Егор Александрович. Входит Светлана. Подаёт Главному папку с рецензиями. Тот быстро просматривает заключение всех трёх рецензий: «О! И этот талант!» — с шутливой интонацией громыхает Егор. Протягивает дубликаты. Благодарю.

Делаю усилие, чтоб тут же по выходе из кабинета не начать знакомство с рецензиями. С колотящимся сердцем подхожу к дому — он тогда еще только готовился к сносу, — в котором прожил десять лет. Сажусь на скамейку и несколько раз перечитываю драгоценные листочки...

Первый раунд вроде бы закончился. Что дальше?



Кого брать за то или за другое место, чтоб придать делу определённость? Связываюсь с Фогельсоном. Виктор Сергеевич назначает день и час делового свидания. В назначенное время стою у ворот издательства. Жду.

Припарковав легковушку, Фогельсон выходит из неё и, раскинув руки, радостно движется мне навстречу.

Что такое? Меня Фогельсон знать не мог. В голове какая-то ерунда. В последний момент оборачиваюсь. Сзади, возле своего «жигулёнка»? — я в этом виде собственности не разбираюсь, — стоит Белла Ахатовна Ахмадулина и, судя по её улыбке, это к ней спешил «Фогель». Наблюдаю сцену братания Беллы и Вити.

Всё когда-нибудь кончается. Закончилось и randevу нужного мне позарез лучшего редактора по поэзии.

— Виктор Сергеевич, я Резник.

— Пошли.

Просто ходящим нормальным шагом я Виктора Сергеевича не застал. Вся его спортивная длинная, худощавая фигура напоминала движущуюся мишень. Даже когда он беседовал с вами, что-то шарнирное было в его повадке. Говорил быстро. Точно. Кратко.

Изложил ему своё положение. Интересуюсь: «Сколько шансов на выход книги?». — «Процентов двадцать. Надо ещё в план попасть. Сейчас формируется план на 83 год». На этом и расстались.

Назначили редактора.

Евгений Храмов. В отличие от Фогельсона, Евгений Львович никуда не спешил. Во время встреч, не отличавшихся продолжительностью, он высказал своё впечатление от рукописи. Сразу стал звать меня Валея.

Попросил подумать о названии сборника. Кстати, о том, что «Заводские берёзы» не совсем удачно, упомянул вскользь Фогельсон.

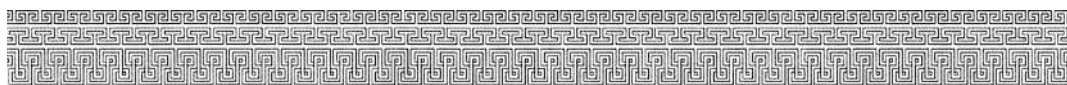
Оказалось легче написать книгу, чем подобрать к ней название.

Помню, перебирая фотографии для обложки и остановившись на той, что украшает её сейчас — выстрелил: «Возраст». Присутствующая при коллективном поиске имени первенца Надя Кондакова «Возраст» одобрила. Фогельсону и Храмову оно тоже понравилось.

— Но, по-моему, Валя, оно уже у кого-то было, — заметил Виктор Сергеевич. Дома пересмотрел несколько сот сборников — книжек с названием «Возраст» не обнаружил.

После выхода книжки чуть ли не на самом видном месте увидел «Возраст» Владимира Корнилова.





Позднее, рассказывая ему эту историю, повинился.

— Да меня всё равно тогда не издавали... Так хоть название работало, — сказал Владимир Николаевич.

Пришлось помучиться с составлением. У кого-то прочитал, что он рассыпал листки сборника по полу, а потом, как мозаику, собирал.

Во время «мозаичных» работ в комнату вошла жена и, увидев рассыпанные по полу листки, выразительно покрутила пальцем у виска.

Я и сейчас не имею представления, как «это делается».

Думаю, если стихи живые, импульсивные, искренние, то, как их ни тащуй, — книга получится живой. Стихи сами как бы подпитывают друг друга. Загораются друг от друга.

Во всяком случае, Храмов мою составительскую работу оценил положительно. А вообще, работа над рукописью состояла в том, что Евгений Львович в нескольких местах, уже в вёрстке, заметил «усилить проходимость». Имея в виду госпожу цензуру.

«Госпожа» оказалась ко мне милостива, хотя я ничего и «не усиливал» — мне легче заменить стихотворение, чем подвергать его «ремонту».

Книга стояла в плане на 1983 год. Четвертый квартал. А вышла в конце восьмидесят второго года.

Двадцать второго декабря тысяча девятьсот восемьдесят второго года мне на работу позвонил Виктор Сергеевич Фогельсон:

— Валя! Приезжай за «сигналами».

Даже не отпросившись у шефа, я взял такси и с Шоссе Энтузиастов примчался в издательство.

Светлана выдала мне два сигнальных экземпляра «Возраста».

Я сунул их в карман пальто и только на улице понял, что глаза вроде как на мокром месте.

